

ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕДИНОК

ТЕОДОР
АДОРНО

КОНЕЦ
ВЕЛИКОЙ
ЭПОХИ



КАНТ,
ДЕ САД
И НИЦШЕ
КАК
РАЗРУШИТЕЛИ
ПРОСВЕЩЕНИЯ

МАКС
ХОРКХАЙМЕР

ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕДИНОК

Философский поединок

Теодор Адорно

**Конец великой эпохи.
Кант, де Сад и Ницше как
разрушители Просвещения**

«Алисторус»

2026

УДК 14
ББК 87.3(0)5:87.3(4Гер)

Адорно Т.

Конец великой эпохи. Кант, де Сад и Ницше как
разрушители Просвещения / Т. Адорно — «Алисторус»,
2026 — (Философский поединок)

ISBN 978-5-00269-703-8

«С давних пор Просвещение в самом широком смысле прогрессивного мышления преследовало цель избавить людей от страха и сделать их господами, – пишут Теодор Адорно и Макс Хоркхаймер, крупнейшие западные философы второй половины XX века. – Рост экономической продуктивности наделил технический аппарат и те социальные группы, которые им распоряжаются, безмерным превосходством над остальной частью населения. При несправедливом порядке бессилие и управляемость масс возрастает пропорционально количеству предоставляемых им благ». Адорно и Хоркхаймер прослеживают, как это произошло, уделяя особое внимание идеям Канта, де Сада и Ницше – «безжалостным завершителям Просвещения», когда порабощение всего природного самовластным субъектом достигла своего апогея. Эта тенденция, пишут авторы, уравнила между собой все оппозиции, присущие буржуазному мышлению, в особенности – оппозицию морального ригоризма и абсолютной аморальности.

УДК 14
ББК 87.3(0)5:87.3(4Гер)

ISBN 978-5-00269-703-8

© Адорно Т., 2026

© Алисторус, 2026

Содержание

Предисловие	7
Понятие Просвещения[1]	9
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Теодор В. Адорно, Макс Хоркхаймер
Конец великой эпохи
Кант, Де Сад и Ницше как
разрушители Просвещения

* * *

© Авторы, правообладатели
© Кузнецов М., перевод
© ООО «Издательство Родина», 2026

Предисловие

Человеческая обречённость природе сегодня неотделима от социального прогресса. Рост экономической продуктивности, с одной стороны, создаёт условия для более справедливого мира, с другой стороны, наделяет технический аппарат и те социальные группы, которые им распоряжаются, безмерным превосходством над остальной частью населения. Единичный человек перед лицом экономических сил полностью аннулируется. При этом насилие общества над природой доводится ими до неслыханного уровня. В то время, как единичный человек исчезает на фоне того аппарата, который он обслуживает, последний обеспечивает его лучше, чем когда бы то ни было.

При несправедливом порядке бессилие и управляемость масс возрастает пропорционально количеству предоставляемых им благ. Материально ощутимое и социально жалкое повышение жизненного уровня низших классов находит своё отражение в притворном распротранении духовности. Подлинной задачей духа является негация овеществления. Он неизбежно дезинтегрируется там, где затвердевает в культуртовар и выдаётся на руки на предмет потребления. Поток точной информации и прилизанных развлечений одновременно и умудряет, и оглушает людей.

Дело вовсе не в культуре как ценности, как то полагают критики цивилизации – Хаксли, Ясперс, Ортега-и-Гассет и другие, – но в том, что Просвещению надлежит осознать самое себя, чтобы человек не оказался окончательно преданным. Не о консервации прошлого, но об исполнении былых надежд должна идти речь. Но сегодня прошлое продолжается в виде разрушения прошлого. Если вплоть до девятнадцатого столетия респектабельное образование было привилегией, оплачиваемой усиливающимся страданием необразованных, то в двадцатом за гигиеничное фабричное помещение пришлось заплатить расплавлением всего к культуре относящегося в одном гигантском тигле. Возможно, это и не было бы настолько уж высокой ценой, насколько считают защитники культуры, если бы распродажа культуры не способствовала превращению достижений экономики в их полную противоположность.

В данных условиях земные блага сами становятся элементами несчастья. Если в предшествующий период, ввиду отсутствия социального субъекта, их огромное количество сказывалось в виде так называемого перепроизводства при внутриэкономических кризисах, то сегодня, вследствие восшествия на престол в качестве такового социального субъекта определённых властных групп, ими порождается угроза фашизма в международном масштабе: прогресс оборачивается регрессом.

К тому, что гигиеничным фабричным помещением и всем к нему непосредственно относящимся, фольксвагенами и дворцами спорта, тупоумно ликвидируется метафизика, можно было бы ещё остаться равнодушным, но нельзя быть безучастным к тому, что в общественном целом всё это само становится метафизикой, идеологической завесой, из-за которой надвигается реальное бедствие.

В своей книге мы стремимся дать как можно более детальное понимание сплетения рациональности с социальной действительностью, равно как и неразрывно связанного с таковым переплетения природы с господством над ней. Проводимая при этом критика Просвещения служит подготовке позитивного понятия последнего, освобождающего его от обслуживания отношений слепого господства.

В центре внимания тут находятся понятия жертвы и отречения, в которых равным образом удостоверяют себя как различие, так и единство мифической природы и просвещённого господства над природой.

Другой экскурс имеет дело с Кантом, Садом и Ницше, безжалостными завершителями Просвещения. Он показывает, как порабощение всего природного самовластным субъектом,

в конце концов достигает своего апогея именно в господстве слепо объективного, природного. Эта тенденция уравнивает между собой все оппозиции, присущие буржуазному мышлению, в особенности – оппозицию морального ригоризма и абсолютной аморальности.

Теодор Адорно, Макс Хоркхаймер

Понятие Просвещения¹

С давних пор Просвещение в самом широком смысле прогрессивного мышления преследовало цель избавить людей от страха и сделать их господами. Программой Просвещения было расколдовывание мира. Оно стремилось разрушить мифы и свергнуть воображение посредством знания. Уже Бэконом, этим «отцом экспериментальной философии», были подобраны соответствующие мотивировки. С презрением относится он к адептам традиции, которые «сначала полагают, что другим известно то, чего не знают они; а впоследствии – что им самим известно то, чего они не знают.

«Легковерие, отвращение, питаемое к сомнению, опрометчивость в ответах, хвастовство образованием, боязнь противоречия, корыстность, небрежность в собственном исследовании, словесный фетишизм, удовлетворённость лишь частичным знанием: все это и тому подобное воспрепятствовало счастливому бракосочетанию человеческого рассудка с природой вещей, взамен сосватав его с тщеславными понятиями и беспорядочными экспериментами: плоды и потомство столь достохвального соития легко можно себе представить. Печатный пресс, грубое изобретение; пушка, изобретение которое уже напрашивалось само собой; компас, до известной степени известный уже ранее: какие только изменения не повлекли за собой эти три изобретения – одно в хозяйственной сфере, другое в сфере военной, третье в области финансов, торговли и мореходства! И на них, говоря я, наткнулись только совершенно случайно.

Итак преимущество человека состоит в знании, в этом не может быть никакого сомнения. Оно таит с себе многие вещи, которые со всеми их богатствами не купить королям, на которые не распространяется их власть, о которых не приносят никаких известий их шпионы и доносчики, к странам из которых они родом не могут отплыть их мореплаватели и первооткрыватели.

Сегодня мы господствуем над природой в одном только нашем мнении, будучи в действительности поработаны ей; однако если бы мы позволили ей руководить нами в наших изобретениях, на практике мы стали бы повелевать ей».

Несмотря на своё незнание математики, Бэкону удалось точно схватить общий настрой науки, воспоследовавшей за ним. Счастливое бракосочетание человеческого рассудка с природой, имевшееся им в виду, патриархально: рассудку, побеждающему суеверия, надлежит повелевать расколдованной природой. Знание, являющееся силой, не знает никаких преград, ни в поработлении творения, ни в услужливости по отношению к хозяевам мира. Равно как и любым целям буржуазного хозяйничанья на фабрике или на поле битвы, готово оно услужить предприимчивому невзирая на его происхождение. Короли не распоряжаются техникой более непосредственно, чем то делают лавочники: техника так же демократична, как и та хозяйственная система, вместе с которой она развивается.

Техника есть сущность этого знания. Оно имеет своей целью не понятия и образы, не радость познания, но метод, использование труда других, капитал. Те многие вещи, которые оно, согласно Бэкону, все ещё таит в себе, сами по себе опять же являются всего лишь инструментами: радио как сублимированный печатный станок, пикирующий бомбардировщик как более эффективная артиллерия, дистанционное управление как более надёжный компас. Един-

¹ Здесь и далее из книги «Диалектика Просвещения».

ственно чему хотят научиться люди у природы, так это тому, как её использовать для того, чтобы полностью поработить и ее, и человека. Ничто иное не имеет значения.

Беспощадное уже и по отношению к самому себе Просвещение выжигает даже последние остатки чувства собственного достоинства. Только такое мышление достаточно твердо, чтобы разрушать мифы, которые учиняет насилие над самим собой. Перед лицом триумфирующего сегодня чувства реальности даже и бэконовское номиналистическое кредо стало бы подозрительным и подпало бы под тот вердикт о ничтожности, который он вынес схоластике. Власть и познание – синонимы.

Бесплодное счастье познания для Бэкона так же непристойно, как и для Лютера. Не об удовлетворении, которое доставляет человеку истина, идёт тут речь, но об «орегатіон», об эффективном методе; не в «убедительных, приятных, достойных уважения или эффектных речах, или же в каких-либо очевидных аргументах, но в деятельности и в трудах и в открывании доселе неизвестных деталей для лучшего оснащения и помощи в жизни „состоит“ подлинная цель и призвание науки». Не должно быть никаких тайн, но также и желания их открыть.

Просвещение распознало даже в платоновской и аристотелевской части метафизического наследия древние силы и начало преследовать притязание универсалий на истинность как суеверие. В авторитете всеобщих понятий им все ещё усматривался прежний страх перед теми демонами, посредством изображений которых люди пытались в ходе магического ритуала влиять на природу. Отныне материя должна была быть порабощаема, наконец, без иллюзий относительно всяких там правящих или внутренне присущих сил, а также скрытых качеств. То, что не желает соответствовать мерилу исчислимости и выгоды, считается Просвещением подозрительным. Сумей оно однажды развернуться без помех со стороны внешнего принуждения, ему не было бы удержу.

С его собственными идеями о правах человека дело обстоит ничуть не иначе, чем с прежними универсалиями. Любой духовный отпор, встречаемый им, лишь умножает его мощь. Это происходит от того, что Просвещение вновь все ещё распознает себя самое даже в мифах. К каким бы мифам ни апеллировало оказываемое ему сопротивление, уже в силу того, что в подобном противостоянии они становятся аргументами, теми, кто оказывает сопротивление, признается принцип разлагающей рациональности, который они ставят в упрек Просвещению.

Просвещение – тоталитарно.

* * *

Основой мифа Просвещением с давних пор считался антропоморфизм, проекция субъективного на природу. Все сверхъестественное, духи и демоны, стало тут зеркальным отображением человека, испытывавшего ужас перед силами природы. Согласно Просвещению, всё множество мифологических фигур может быть сведено к одному и тому же знаменателю, все они редуцируются к субъекту. Ответ Эдипа на загадку сфинкса: «Это человек» – повторяется Просвещением в качестве выдаваемой им стереотипной справки во всех без исключения случаях, безотносительно к тому, что имеется им в виду: фрагмент объективного смысла, контуры некоего порядка, страх перед силами зла или надежда на спасение.

В качестве бытия и события Просвещением заранее признается только то, что удаётся постигнуть через единство; его идеалом является система, из которой вытекает все и вся. Не в этом отличаются друг от друга его рационалистическая и эмпиристская версии. Сколь бы различно ни интерпретировались отдельными школами исходные аксиомы, структура единой науки всегда оставалась той же самой.

Множественность форм сводится к их местоположению и распорядку, история – к факту, вещи – к материи. Согласно Бэкону, должны также существовать и однозначные логические связи, посредством степеней всеобщности, между высшими принципами и данными наблюде-

ния. Им взлелеивается формальная логика, которая была великой школой унификации. Она предоставила просветителям схему исчислимости мира. Мифологизирующим отождествлением идей с числами в последних сочинениях Платона выражается пафос всякого демифологизирования: число стало каноном Просвещения. Буржуазное правосудие и товарообмен регулируются одними и теми же уравнениями. «Не является ли то правило, что когда складываешь неравное с равным получаешь неравное, аксиомой как справедливости, так и математики?»

Буржуазное общество управляется принципом эквивалентности. Оно делает разноименное сопоставимым тем, что редуцирует его к абстрактным величинам. То, что не поглощается числами, в конечном итоге единицей, становится для Просвещения видимостью, иллюзией; современным позитивизмом оно изгоняется в поэзию. Единство остаётся главенствующим лозунгом от Парменида до Рассела. Главным остаётся истребление богов и качеств.

Но мифы, становящиеся жертвой Просвещения, сами являются его же непосредственными продуктами. В научном исчислении события аннулируется тот отчёт, который когда-то был дан мыслью о событии в мифах. Миф стремился сообщить, назвать, высказать происхождение: но тем самым изобразить, констатировать, объяснить. В ходе записи и собирания мифов эта тенденция усиливается.

С ранних пор мифы превращаются из сообщения в учение. Любой ритуал включает в себя представление о событии как об определённом процессе, на который надлежит влиять магическим образом. Этот теоретический элемент ритуала обособливается в самых ранних эпосах народов. Мифы в том виде, в каком их застают трагики, уже стоят под знаком той дисциплины и власти, которые прославляются Бэконом в качестве цели. Место локальных духов и демонов занимают небеса и их иерархия, место заклинаний, практикуемых магом и племенем – чётко субординированное жертвоприношение и выполняемый в приказном порядке труд невольников. Божества Олимпа уже более не идентифицируются непосредственно со стихиями, они их обозначают. У Гомера Зевс руководствует над дневными небесами, Аполлон управляет Солнцем, Гелиос и Эос переходят уже в область аллегорического. Бытие отныне распадается и превращается в логос, стягивающийся, с прогрессом философии, в монаду, во всего только точку отсчёта, и в массу всех вещей и создании вовне.

Одним единственным различием между собственным существованием и реальностью поглощаются все иные. Безотносительно к каким бы то ни было различиям мир становится подвластным человеку. В этом единодушны иудейская история творения и религия Олимпа, «...и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле».

О Зевс, отец мой! Ты на небесах царишь
Свидетель ты всех дел людских,
И злых и правых. Для тебя не всё равно,
По правде ль зверь живёт иль нет.

«Господин же, поставивший раба между собой и ей, встречается, таким образом, только с зависимой стороною вещи и пользуется ей целиком; самостоятельную же её сторону он предоставляет рабу, который её и обрабатывает». Перед этими богами устоять способен только тот, кто покоряется без остатка. Пробуждение субъекта куплено ценой признания власти в качестве принципа всех отношений. По сравнению с единством подобного рода разума различие между богом и человеком низводится до степени той иррелевантности, которая уверенно констатировалась разумом уже прямо-таки со времён самой древней гомеровской критики. В качестве повелителя природы бог творец и дух устроитель тождественны друг другу. Богоподобие человека состоит в суверенитете над существованием, в его взгляде повелителя, в командовании.

Миф превращается в Просвещение, а природа – во всего лишь объективность. Усиление своей власти люди оплачивают ценой отчуждения от всего того, на что их власть распространяется. Просвещение относится к вещам точно так же, как диктатор к людям. Они известны ему в той степени, в какой он способен манипулировать ими. Человеку науки вещи известны в той степени, в какой он способен их производить. Тем самым их в себе становится их для него.

В этом превращении сущность вещей всегда раскрывается как та же самая в каждом случае, как субстрат властвования. Этой идентичностью конституируется единство природы. Столь же мало, как и единство субъекта, являлось оно предпосылкой практики магического заклинания. Ритуалы шамана были обращены к ветру, к дождю, к змее снаружи или к демону внутри больного, но не к веществам или экземплярам.

* * *

Не один единственный и идентичный самому себе дух был тем духом, которым приводилась в действие магия; он менялся подобно тем культовым маскам, которым надлежало быть подобными множественным духам. Магия является кровавым заблуждением, но в ней господство ещё не отрицается благодаря тому, что она, будучи трансформированной в абсолютную истину, кладётся в основу поработаемого ей мира. Маг уподобляет себя демонам; чтобы запугать их или умиловить, он принимает вид устрашающий или смиренный. И хотя его должность требует повторения одного и того же, он ещё не объявляет себя, как это делает цивилизованный человек, для которого в таком случае его скромные охотничьи угодья съеживаются до размеров унифицированного космоса, совокупности возможностей добычи, подобием незримых сил.

Лишь в качестве такового подобия достигает человек идентичности той самости, которая не может быть утрачена при идентифицировании себя с другими, но которая овладевает собой в качестве непроницаемой маски раз и навсегда. Именно идентичность духа и её коррелят, единство природы, есть то, жертвой чего становится полнота качеств, лишённая качеств природа становится хаотическим материалом для всего лишь классификации, а всемогущая самость – всего лишь обладанием, абстрактной идентичностью.

Магии присуще специфическое замещение. То, что происходит с копьём врага, его волосом, его именем, причиняется одновременно и самому человеку, вместо бога умерщвляется жертвенное животное. Субституция при жертвоприношении знаменует собой шаг в направлении дискурсивной логики. Даже если самка оленя, приносимая в жертву взамен дочери, либо ягненок, жертвуемый взамен первенца, несомненно обладали в придачу ещё и собственными качествами, они всё же являлись уже представителями вида. Они несли в себе случайность экземпляра. Но святостью, исключительностью избранника, осеменяющей заместителя, последний радикально выделяется, делается незаменимым при обмене.

Этому кладёт конец наука. В ней не существует никакого специфического замещения: если уж жертвенные животные, то уж никакого бога. Замещение оборачивается универсальной взаимозаменяемостью. Атом разделяется не как заместитель, но как образчик материи, и кролик не замещает, а профессиональным рвением лаборатории третируется всего лишь как экземпляр. В силу того, что в функциональной науке различия становятся текучими до такой степени, что все тонет в одной единственной материи, предмет науки окаменевают и закоснелый ритуал былых времён начинает казаться изменчивым, поскольку им Единому приписывалось ещё и Иное. Мир магии все ещё содержит различия, сами следы которых исчезли в форме языка.

Самые разнообразные сходства между сущим вытесняются одним единственным отношением между задающим смысл субъектом и смысла не имеющим предметом, между рациональным значением и случайным носителем значения. На магической ступени сон и образ

считались не всего только знаками вещи, но – связанными с последней посредством подобия или имени. Связь тут является связью не интенции, но родства. Так же, как и наука, колдовство преследует свои цели, но оно достигает их посредством мимесиса, а не в ходе прогрессирующего дистанцирования от объекта. Оно никоим образом не основано на «всесилии мысли», которое, подобно невроту, мог бы приписать себе примитивный человек; «переоценки психических процессов в противовес реальности» не может быть там, где мысль и реальность ещё радикально не разъединены. «Непоколебимая уверенность в возможности овладения миром», которую Фрейд анахронично приписывает колдовству, соответствует лишь удовлетворяющей принципу реальности стадии овладения миром посредством более искусной науки. Для смены привязанных к определённому месту практик знахаря всеохватывающей индустриальной техникой потребовалось обособление мысли по отношению к объекту, как оно было осуществлено в удовлетворяющем принципе реальности Я.

В качестве языковым образом развёрнутой тотальности, притязанием которой на истину подавляются более древние мифические верования народных религий, солярный, патриархальный миф сам является просвещением, с которым Просвещение философское может теперь померяться силами как с равным. И ему воздаётся сторицей. Мифология сама развязала процесс бесконечного просвещения, в ходе которого любое определённое теоретическое воззрение с неизбежной необходимостью вновь и вновь подвергается уничтожительной критике, выставляющей его в виде всего лишь некоего верования, вплоть до того, что понятия духа, истины и даже просвещения сами становятся относящимися к сфере анимистического колдовства.

Принцип роковой необходимости, губящий героев мифа и развёртывающийся в качестве логического следствия прорицания оракула, не просто господствует, будучи облагороженным до убедительности формальной логики, в любой рационалистической системе западноевропейской философии, но управляет даже самой последовательностью систем, которая начинается с иерархии божеств и которой, в условиях перманентных сумерек кумиров, направляется гнев в отношении недостающей порядочности как идентичного содержания. Подобно тому, как мифами уже осуществляется просвещение. Просвещение с каждым своим шагом втягивается всё глубже и глубже в мифологию.

Оно перенимает весь материал мифов для того, чтобы их разрушить, и как их судия подпадает под чары мифов.

Оно стремится избежать суда роковой неизбежности и соответствующего возмездия тем, что учиняет акт возмездия над ним самим. В мифах все случившееся должно быть покаянием за то, что оно случилось. От этого в Просвещении остаётся только то, что факт становится ничтожным, едва случившись. Учением о равенстве действия и противодействия власть повторения над существованием утвердилась много позже того, как люди отказались от той иллюзии, что благодаря повторению они способны идентифицировать себя с повторяющимся существующим и, тем самым, избежать его власти. Но чем более рассеивается эта иллюзия магии, тем неумолимее вовлекается человек повторением в сане закономерности в тот кругооборот, посредством опредмечивания которого в закон природы он мнит себя удостоверенным в качестве свободного субъекта.

* * *

Принцип имманентности – объяснение каждого события как повторяющегося – который отстаивается Просвещением в противовес мифологической продуктивной силе воображения, есть принцип самого мифа. Сухой мудростью, не допускающей ничего нового в подлунном мире, потому что кости бессмысленной игры брошены, великие мысли все уже помыслены, возможные открытия заранее конструированы, а люди нацелены на самосохранение посред-

ством приспособления – этой сухой мудростью репродуцируется именно то чисто фантастическое, что отвергается ей: санкция рока, которой, посредством возмездия, неустанно воссоздаётся вновь то, что уже некогда было.

Таков вердикт, критически воздвигающий границы возможного опыта. Идентичность оплачивается в первую очередь всем тем, что не способно в одно и то же время быть идентичным самому себе. Просвещение ликвидирует беззаконие прежнего неравенства, непосредственное барство, но в то же время и увековечивает его в универсальном опосредовании, в соотнесённости всякого сущего с любым иным. Им исполняется то, что восхваляется Кьеркегором в его протестантской этике и что уже наличествует в эпическом цикле о Геракле в качестве одного из прообразов мифологического могущества: им отсекается несоизмеримое. Здесь не только разлагаются мыслью качества, но и принуждаются к реальной конформности люди. То благо, что рынок не задаёт вопросов о происхождении, оплачено торгующим тем, что те возможности производства товаров, продающихся на рынке, которыми наделён он от рождения, он позволяет моделировать другим.

Самость людям даруется в каждом случае как их собственная, ото всех других отличная для того, чтобы тем вернее была она той же самой. Но так как ей никогда не удавалось полностью ликвидироваться, на протяжении всего либералистского периода Просвещение постоянно симпатизировало социальному насилию.

Единство манипулируемого коллектива состоит в негации каждого единичного его члена, что очень далеко от того способа, каким общество сумело сделать его одним единственным. Орда, наименование, вне сомнения, применимое к организации «Гитлерюгенд», никоим образом не является рецидивом варварства, но – триумфом репрессивной эгалитарности, развитием равенства прав в бесправие равенства. Фашистская имитация мифа разоблачает себя в качестве подлинно первобытного мифа, ибо мифу подлинному было присуще прозрение возмездия, тогда как мифом фальшивым оно слепо учиняется над его жертвами. Любая попытка порвать узы природного принуждения, в результате чего сломленной оказывается сама природа, лишь прочнее затягивает эти узы.

Таков путь, проложенный европейской цивилизацией. Абстракция, инструмент Просвещения, относится к своим объектам подобно року, понятие которого ей искореняется: способом ликвидации. В условиях нивелирующего господства абстрактного, делающего все в природе повторяющимся, и индустрии, для которой оно его обрабатывает, сами освобождённые в конце концов становятся той «толпой», которую Гегель охарактеризовал как результат Просвещения.

Дистанцированность субъекта от объекта, предпосылка абстракции, имеет своим основанием ту дистанцию к вещи, которая приобретается господином посредством подданного. Песни Гомера и гимны Ригведы принадлежат эпохе землевладения и закреплённых площадей, когда воинственная народность, властвующая над массой побеждённых ей автохтонов, становится оседлой. Верховный бог среди божеств возникает с этим буржуазным миром, в котором царём как предводителем военной аристократии подданные удерживаются на земле, в то время как врачами, прорицателями, ремесленниками, торговцами осуществляется обращение.

С концом номадизма социальный строй учреждается на базисе прочно закреплённой собственности. Такой собственник, как Одиссей, «издали управляет многочисленным, педантично подразделённым персоналом, состоящим из волопасов, чабанов, свинопасов и слуг. Вечером, наблюдая из своего замка, как земля озаряется тысячу огней, он может позволить себе со спокойной душой отойти ко сну: он знает, что его славные слуги бодрствуют, готовы уберечь от диких зверей и охранить от воров его владения, для защиты которых они и существуют».

* * *

Всеобщность мысли, как её развивает дискурсивная логика, господство в сфере понятия выстраивается на фундаменте господства в действительности. В смене магического наследия, древних диффузных представлений находит своё выражение понятийным единством структурируемая приказным порядком, устанавливаемая свободными людьми конституция жизни. Самость, обучившаяся порядку и субординации на порабощении мира, скоро вообще начинает отождествлять истину с мышлением распорядителем, без вводимых которым чётких различий она и не способна существовать.

Вместе с миметическим колдовством ей табуируется и то знание, которым в самом деле затрагивается предмет. Её ненависть распространяется одновременно и на образ поверженного первобытного мира и на своё собственное воображаемое счастье. Хтонические божества коренного населения изгоняются в ад, в который превращается Земля под властью солнечно световой религии Индры и Зевса.

Но небеса и ад неразрывно связаны друг с другом. Подобно тому, как имя Зевса в тех культах, которые не исключали друг друга, равным образом принадлежало и подземному боже-ству? и богу света, подобно тому, как олимпийские боги имели обыкновение поддерживать контакты разного рода с богами хтоническими, не были однозначно отделены друг от друга добрые и злые силы, благо и зло. Они были сцеплены между собой как возникновение и уничтожение, как жизнь и смерть, как лето и зима. В солнечно ясном мире греческой религии продолжала жить смутная нерасчленённость того религиозного принципа, который на самой ранней из известных стадий развития человека почитался в качестве мана.

Первоначально, будучи ещё не дифференцированной, была она всем неведомым, чуждым; тем, что оказывалось трансцендентным кругу опыта, тем, что в вещах было больше их наперёд уже известного существования. То, что примитивом в этом случае распознается в качестве сверхъестественного, никоим образом не является духовной субстанцией как противоположностью материального, но – взаимосвязностью естественного в противовес отдельному его звену.

Вопль ужаса, который вырывается при встрече с непривычным, становится его именем. Им фиксируется трансцендентность неведомого по отношению к известному и тем самым – святость ужаса. Раздвоение природы на видимость и сущность, на воздействие и силу, лишь благодаря которым становятся возможными как миф, так и наука, порождено страхом человека, сам способ выражения которого становится объяснением.

Не душа переносится на природу, как то заставляет думать психологизм; мана, движущий дух, никоим образом не является проекцией, но эхом реального всемогущества природы в слабых душах дикарей. Разделение на одушевлённое и неодушевлённое, заселение определённых мест демонами и божествами берёт своё начало в этом преанимизме. Само разделение субъекта и объекта уже заложено в нём. Когда с деревом обращаются не просто как с деревом, а как со свидетельством чего-то иного, как с местопребыванием мана, язык обретает способность выразить то противоречие, что нечто является им самим и в то же время чем-то иным, нежели оно само, идентичным и неидентичным.

Благодаря божествам язык из тавтологии становится языком. Понятие, которое расхожей дефиницией определяется в качестве единства признаков под него подводимого, напротив, с самого начала было продуктом диалектического мышления, для которого что-либо есть то, что оно есть, лишь благодаря тому, что оно становится тем, чем оно не является.

Таковой была первоначальная форма объективирующего определения, в которой разошлись врозь понятие и вещь, та самая, которой были достигнуты большие успехи уже в гомеровском эпосе и которая оттуда перекочевала в современную позитивную науку. Но эта диа-

лектика остаётся бессильной постольку, поскольку развивает себя из того вопля ужаса, который сам есть лишь удвоение, тавтология ужаса. Боги не могут взять на себя страх человека, окаменевшие звуки которого они носят в качестве своих имён. От страха, мнится ему, будет он избавлен только тогда, когда более уже не будет существовать ничего неведомого. Этим определяется путь демифологизации.

Просвещения, отождествляющего одушевлённое с неодушевлённым точно так же, как мифом отождествлялось неодушевлённое с одушевлённым. Просвещение есть ставший радикальным мифологический страх.

* * *

Чистая имманентность позитивизма, его последний продукт, есть не что иное, как его, если можно так выразиться, универсальное табу. Недопустимо, чтобы вообще что-либо ещё существовало вовне, ибо одно только представление о «вовне» как таковом является подлинным источником страха. Когда месть примитива за убийство, жертвой которого становился кто-либо из его близких, временами удовлетворялась принятием убийцы в свою семью, этим обозначался процесс выпитывания чужой крови в собственную, процесс восстановления имманентности.

Мифологический дуализм не выводит за пределы привычного круга существования. Пронизанный властью мана мир, и даже ещё индийский и греческий миф безысходно и бесконечно однородны. Любое рождение оплачено смертью, всякое счастье – несчастьем. И сколь бы ни пытались люди и боги переиначить свою участь в соответствии с мерилami иными, чем те, которые используются слепой поступью судьбы, в конечном итоге существование всегда одерживает над ними верх. Даже сама справедливость, отвоеванная ими у рока, все ещё продолжает нести на себе его черты; она соответствует тому взору, который люди, будь то примитивы или греки и варвары, устремляют из общества подавления и нужды на окружающий их мир. Поэтому то и мифологической, и просвещенческой справедливостью вина и наказание, счастье и несчастье считаются сторонами одного и того же уравнения.

Справедливость угасает в праве. Шаман заклинает опасность, используя её образ. Равенство является его средством. Им регулируются процедуры наказания и поощрения в цивилизации. Сведению к природным соотношениям поддаются прямо-таки все без остатка представления мифов. Подобно тому, как созвездие Близнецов наряду со всеми прочими символами двойственности указывает на неминуемый кругооборот природы, подобно тому, как последний сам в символе яйца, их порождающего, обретает свой древнейший знак, весы в руке Зевса, символизирующие справедливость патриархального мира в целом, отсылают к природе и только к ней одной. Шаг от хаоса к цивилизации, в которой природными зависимостями власть утверждается уже более не непосредственно, но через сознание людей, ничего не меняет в принципе равенства. Как раз этот шаг люди даже были вынуждены искупить ценой обоготворения того, чему они, подобно всем прочим тварным существам, прежде были покорны. Некогда фетиши подчинялись закону равенства. Теперь равенство само становится фетишем. Повязка на глазах Юстиции означает не только то, что в правосудие ничему не дозволено вмешиваться, но также и то, что оно ведёт своё происхождение не от свободы.

Учение жрецов было символическим в том смысле, что в нём совпадали знак и образ. Как свидетельствуют иероглифы, первоначально слово выполняло также функцию образа.

Позднее она была возложена на мифы. Мифы, как и магические ритуалы, предполагают себя самое повторяющую природу. Она является ядром символического: бытием или процессом, представляемым в качестве извечного потому, что в ходе пресуществления символа он всегда вновь способен стать событием.

Неисчерпаемость, бесконечное обновление, непрерывность обозначаемого суть не только атрибуты всех и всяческих символов, но – их подлинное содержание. Те изображения акта творения, в которых мир порождается праматерью, коровой или яйцом, в противоположность иудейскому Генезису символичны. Насмешка древних над слишком человеческими божествами не затрагивала тут существа дела. Индивидуальностью не исчерпывалась сущность этих божеств. Они все ещё хранят нечто от мана в себе; они олицетворяют собой природу как всеобщую власть.

Своими преанимистическими чертами они возвышаются над Просвещением. Под стыдливой оболочкой олимпийской скандальной хроники уже складывалось учение о смешении, взаимовлиянии и столкновении элементов, вскоре учредившее себя в качестве науки и превратившее мифы в плод человеческой фантазии. С аккуратным отделением друг от друга науки и поэзии вызванное ими к жизни разделение труда распространяется и на язык.

В качестве знака в науку приходит слово; в качестве звука, образа, в качестве собственно слова распределяется оно среди различных искусств, не поддаваясь в каждом отдельном случае восстановлению посредством их суммирования, посредством синестезии или некоего целостного искусства. В качестве знаковой системы языку надлежит смиренно превратиться в исчисление, чтобы познавать природу, следует оставить претензию быть ей подобным. В качестве образа надлежит ему смиренно превратиться в отображение, чтобы быть всей природой – отказаться от претензии её познать.

В условиях прогрессирующего развития Просвещения лишь аутентичным произведениям искусства удавалось избегать неприкрытой имитации того, что и без того уже есть. Расхожая антитеза искусства и науки, отрывающая их друг от друга в качестве сфер культуры для того, чтобы сделать их, в качестве таковых, коллективно управляемыми, в конечном итоге предоставляет им, как полным противоположностям, возможность в силу их собственных тенденций переходить друг в друга.

Наука, в её неопозитивистской интерпретации, становится эстетизмом системой сменных знаков, свободных от какой бы то ни было интенции, системе трансцендентной: игрой, каковой математики уже с очень давних пор гордо провозгласили своё дело. Но искусство интегральной отображаемости оказывается тут предписанным вплоть до техник, используемых позитивистской наукой. Оно и в самом деле ещё раз становится миром, идеологическим удвоением, покладистой репродуцируемостью. Разъединение знака и образа было неотвратимым. Но если оно в пароксизме самодовольства безоглядно гипостазируется вновь, каждый из обоих изолированных принципов толкает лишь к разрушению истины.

* * *

Бездну, которая разверзлась при этом разъединении, философия видит в соотношении созерцания и понятия и неустанно, но тщетно пытается сызнова и сызнова сомкнуть: посредством этой попытки она даже получает свою дефиницию. Правда, чаще всего вставала она на сторону того, от чего заимствует она имя своё. Платон изгоняет поэзию тем же жестом, что и позитивизм – учением об идеях. Своим многими столь превозносимым искусством Гомер, по Платону, не осуществил никаких реформ ни в общественной, ни в частной жизни, не выиграл ни одной войны, не сделал ни одного открытия.

Нам ничего неизвестно о тех многочисленных приверженцах, которыми он бы почитался или был любим. Искусство ещё должно доказать свою полезность. Подражательство им, как и иудеями, объявляется вне закона. Разумом и религией принцип волшебства подвергается опале. Уже в виде отступнического дистанцирования от привычного существования, в качестве искусства, он третируется как нечто постыдное; практикующие его становятся бродячим людом, претерпевающими невзгоды номадами, не имеющими родины среди оседлых. На при-

роду более не следует влиять посредством уподобления, её следует подчинять себе посредством труда. У произведения искусства с колдовством то общее, что самим собой учреждает оно замкнутую сферу, исключённую из контекста профанного бытия. В ней властвуют особые законы. Подобно тому, как в ходе церемониала колдун первым делом отграничивает от всего окружающего мира то место, в котором надлежит разыграться действию священных сил, во всяком произведении искусства его абрис изолирует себя от действительности. И именно тем отказом от воздействия, который отличает искусство от магической симпатии, устанавливается более глубокая преемственность по отношению к наследию магии. Им выдвигается чистый образ в противовес телесной экзистенции, элементы которой этот образ снимает в себе.

Сам смысл произведения искусства, эстетической видимости, состоит в том, чтобы быть тем, чем в любом колдовстве примитива становилось новое, ужасавшее его событие: явленностью целого в частном. В произведении искусства всегда, вновь и вновь осуществляется то удвоение, посредством которого вещь являла себя в качестве чего-то духовного, становилась проявлением мана. Так образуется его аура. Будучи выразителем тотальности, искусство претендует на сан абсолюта. Потому то и склоняется философия время от времени к тому, чтобы признать за ним приоритет над понятийным познанием. Согласно Шеллингу, искусство начинается там, где отказывает человеку его знание. Он считал его «прообразом науки, и туда, где уже находится искусство, науке предстоит ещё дойти». Разрыв между знаком и образом вполне в духе его учения «полностью снимается любым отдельно взятым изобразительным актом искусства».

Подобного рода доверие к искусству буржуазный мир испытывал чрезвычайно редко. В тех случаях, когда им ограничивалось знание, это, как правило, происходило для того, чтобы уступить место вере, а не искусству. С её помощью воинствующая религиозность последующих поколений, Торквемада, Лютер, Магомет, намеревалась добиться примирения духа и бытия. Но вера есть понятие привативное: как вера она уничтожается, как только перестаёт непрерывно выставлять напоказ свою противоположность знанию или же свою гармонию с ним. Будучи ориентированной на ограничение знания, она сама оказывается ограниченной. Предпринятая протестантизмом попытка создания такого вероисповедания, в котором трансцендентный принцип истины, без которого оно не могло бы существовать, обрелся бы, как и в глубокой древности, непосредственно в слове и которым тем самым последнему возвращалась бы его символическая власть, была оплачена? ценой послушания слову, и притом не только сакральному. В силу того, что вера неизбежно продолжает оставаться скованной со знанием, будь то в качестве его друга или врага, она увековечивает раскол между ними самой той борьбой, которую ведёт она за его преодоление: её фанатизм является признаком её неистинности, объективным признанием того, что тот, кто всего лишь верует, тем самым как раз уже более и не верует. Нечистая совесть – её вторая природа. В необходимо присущем ей тайном сознании собственной неполноценности, имманентной ей противоречивости в деле превращения умиротворения в свою специальность следует искать причину того, что добросовестность верующих уже с давних пор была раздражающей и опасной. Не в качестве неких сумасбродств, а в качестве пресуществления самого принципа веры практиковались в своё время мерзости огня и меча.

* * *

Вера постоянно выставляет себя явлением того же пошиба, что и всемирная история, которой она хотела бы управлять, в Новое время она даже становится излюбленным средством последней, её специфической хитростью. Безудержным тут становится не только Просвещение девятнадцатого столетия, как то констатировалось уже Гегелем, но, и никто другой не был осведомлён об этом лучше, чем он, движение самой мысли. Как в самых низменных, так и в

самых высоких прозрениях уже содержалась их дистанцированность от истины, превращающая её апологетов в лжецов.

Парадоксия веры вырождается, в конечном итоге, в мошенничество, в миф двадцатого столетия, а её иррациональность – в рациональный инструмент в руках тех беззаветных просветителей, которые ведут общество к варварству. Как только в историю приходит язык, его мэтры становятся жрецами и кудесниками. Оскорбляющий символы именем властей небесных передаётся в руки властей земных, быть полномочными представителями которых призваны соответствующие органы общества. То, что этому предшествовало, сокрыто во мраке. Судороги ужаса, в которых рождается мана, по меньшей мере везде, где находит это этнология, бывают санкционированы старейшинами племён.

Неидентичная, растекающаяся мана насильственно материализуется человеком и делается консистентной. Волхвы проворно заселяют любое из мест её эманациями и подчиняют многообразие сакральных ритуалов многообразию сакральных областей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.